

КАЖДЫЙ РАЗ — ПРЕМЬЕРА

Татьяна ТЭСС

ЕСЛИ любишь поэта, его узнаешь по первой же прочитанной строке, еще до того, как увидела подпись под стихотворением. Если любишь и знаешь композитора, достаточно услышать несколько музыкальных фраз, — и назовешь его имя. В этом узнавании есть особая прелесть, ибо оно рождено любовью к мастеру, пристальным и нежным вниманием к его дарованию, знанием его характерных черт. И ты говоришь с радостью и удовлетворением:

— Это, конечно, он, — как его не узнать!

Но бывает и так, что у тебя есть не только любимый поэт или любимый композитор, но и любимая актриса. И тут, как ни странно, получается совсем несхожая картина: испытываешь радость от того, что в новой роли актриса предстает настолько иной, что узнать ее не так-то просто. Обладая редкостным по глубине даром перевоплощения, актриса так полно, так счастливо сливается с образом своей героини, находит такие неожиданные и сильные краски, что, глядя на сцену, произносишь с изумленным восхищением:

— Неужели это она? Помилуйте, ведь ее невозможно узнать...

Речь идет, как вы, возможно, догадаетесь, о народной артистке Советского Союза Фаине Георгиевне Раневской.

Перевоплощение — это не просто другой костюм и грим, накладной подбородок или новый парик. Это новая жизнь, которую актриса должна прожить на сцене, другой человек, которым ей дано стать. Раневская умеет прожить чужую жизнь на сцене с такой убежденной искренностью и страстью, словно иной жизни у нее не было и быть не могло.

В каждой сыгранной роли ее «душевные затраты» огромны. Однажды я видела, как она возвращается домой после спектакля, в котором играла уже много раз.

Добравшись до кресла в передней, она опустилась в него и сидела не шевелясь, как была, — в шубе, в перчатках, в шляпе на седой голове... Это была не физическая усталость, а усталость души, вместившей за несколько часов столько сложных и сильных чувств, что они и сейчас теснились в ней, борясь, не давая отдыха. Лицо актрисы вдруг

показалось мне незнакомым, словно в нем еще угадывались чужие черты, непогасший отпечаток внутреннего мира того человека, которым актриса только что на сцене была. Я с волнением следила, как постепенно тепело это бесконечно усталое, прекрасное лицо, как проступала в нем знакомая живость, внимание... Но заговорить я решилась только тогда, когда Раневская медленно поднялась с кресла: это значило, что актриса, наконец, вернулась из театра к себе домой.

— Как вы играли сегодня? — спросила я.

— Ужасно! — ответила Раневская мрачно, снимая с головы шляпу и бросая ее на стол. — Хуже нельзя...

За все годы нашего давнего знакомства иного ответа я ни разу от нее не слыхала.

Ни бурные аплодисменты зала, ни похвалы рецензентов — ничто не могло ее убедить, что роль сделана в полную силу: всякий раз после спектакля ей казалось, что можно было сыграть лучше. Сколько мучений приносит художнику такое тревожное и трижды благословенное чувство, как неудовлетворенность, — спутник истинного таланта...

О спектакле, с которого вернулась Раневская, мне, несколько позже, рассказала одна из зрительниц.

Успех был огромный, Раневскую в конце пьесы непрерывно вызывали на сцену, к рампе несли корзины цветов, но зрительница едва различала все это сквозь слезы. Она пришла в театр имени Моссовета, уверенная, что ее любимая комедийная актриса, — как это бывало уже не раз, — заставит ее от всей души смеяться. Вместо этого она проплакала весь спектакль.

— Я всегда считала Раневскую актрисой комедии, — говорила она изумленно. — Сколько в ней юмора, какое тонкое чувство смешного, какая блестящая комедийная изобретательность! И вдруг передо мной на сцене совсем другой человек, — печальный, беззащитный, трогательно-добрый... От жалости к ее героине у меня просто сердце разрывалось. Но если она истинно драматическая актриса, если умеет так глубоко проникать в горестную человеческую душу, то как же получается, что эта же самая Раневская может за-

ставить неудержимо смеяться вся зрительный зал?

Трудно, очень трудно ответить на такой вопрос. Даже самой актрисе...

Не так давно, включив радиоприемник, я услышала женский голос.

Глубокий, тихий, как дыхание, он был бесконечно доверчив, словно на всем белом свете обращался ко мне одной. Он говорил простые слова, этот мягкий голос, он ни на что не жаловался и ничего не просил, но с каждым звучащим словом все яснее вставал живой человеческий образ. И так предельно одинока была эта тихо говорившая женщина, столько высокого достоинства было в ее любви, в ее бескорыстной материнской доброте, что хотелось вскочить с места и бежать к ней на помощь, укрыть, защитить ее от равнодушной жестокости...

Пьесу «Дальше — тишина» и Раневскую в роли Люси Купер я видела в театре имени Моссовета несколько раз и как будто знала каждое слово. Но вдруг оказалось, что голос актрисы, властью радио отъединенный от сцены, декораций, рампы, внешних черт, — только один доверчиво звучащий в воздухе голос может обладать такой изобразительной силой, что проникнет в самую душу и расскажет о том, чего, может быть, со сцены ты и услышать не сумела...

Я не буду перечислять роли, сыгранные Раневской, — у нее большая сценическая жизнь и ролей было много, хотя, как мне кажется, все-таки меньше, чем эта прекрасная актриса могла бы сыграть. Хочу только добавить, что как бы велик ни был ее дар перевоплощения, какие бы неожиданные краски ни находила она для каждой новой роли, есть в ней главное, неизменное, не покидающее никогда. Я говорю о ее взыскательности, твердости нравственных оценок, высоте эстетических критериев. Никогда не покидает ее чутье художника, безошибочность вкуса, убежденная, непримиримая требовательность к себе, ко всему, что связано с главным делом ее жизни.

Говорят, что у Раневской трудный характер, и, наоборот, это правда. Что ж, талант — всегда чудо, но чудо трудное. Талант — это особая острота вос-

приятий, ранимость, непрестанная тревога от сознания, что еще чего-то в своей работе не нашла и не сделала. Это — мгновенный душевный отклик на красоту и уродство, на доброту и черствость, на сложности быта, на плохую пьесу, на прекрасную музыку, на чью-то несправедливость, на собственную ошибку... Поверьте, что от этого трудней всего ей самой. И, возможно, было бы еще трудней, если бы не, могущественное чувство юмора, которое так часто приходит ей на выручку.

О ее остроумии, так же как о ее рассеянности, с охотой рассказывают, и удивительные эти истории в большинстве своем правдивы. Хочу добавить, что рядом с непревзойденной способностью терять любую вещь или раскланываться с незнакомыми в ней уживается четкая дисциплина и безошибочная память. Ее остроумные, блистательно точные характеристики стоило бы записывать. Но это, по моему убеждению, должна сделать она сама.

Чувство слова и литературной формы у актрисы так развито, что ей может позавидовать иной литератор. Издательство предложило Раневской написать книгу воспоминаний; она, после долгих колебаний, согласилась. Как-то, придя к ней, я увидела, что весь пол в комнате усыпан мелко порванными клочками испанской бумаги.

— Единственное, что сближает плохую рукопись с хорошей, это данная автору возможность ее порвать, — сказала она, вздохнув. — Слава богу, у меня такая возможность есть...

Подобрав с пола обрывки страниц, я попросила ее прочесть их и только ахнула: они были написаны отлично. Хочется думать, что свою книгу Раневская все-таки закончит: это будет одна из интереснейших повестей о прожитой в искусстве жизни...

Есть актеры популярные, есть актеры любимые. Как бы тонко ни было это различие, оно все же существует.

Зрители любят Раневскую искренней и верной любовью; между ней и зрителями существует сложная душевная связь. Интерес к ее творчеству и к ней самой неиссякаем, — и как радуется актрису, когда свою нежность к ней люди умеют выразить бережно и чутко...

Не будем считать, сколько актрисе исполнилось лет: возраст художника определяют не листки календаря.

Хочу сказать только, что к таланту, который дала Фаине Георгиевне Раневской природа, к ее душевной тонкости и остроте ума, прожитые годы, ничего не погасив, добавили зрелую точность и мудрый творческий опыт.

ИЗВЕСТИЯ
Г. МОСКВА

20 АВГ 1976